

Сape Peninsula

И с невозможностью проснуться и дышать
вечерним бризом у «Двенадцати Апостолов»
устало дремлет одинокая душа,
не находящая себя на полуострове,
где расцветает многоцветьем Kirstenbosch,
и где Атлантика с Индийским перемешаны,
и где я чувствовал томительную дрожь,
которой верил несказанно и помешанно.

И та любовь моя—как Бродского стихи
или его островитянская Венеция.

Я просыпаюсь, и во мне одни грехи.
А главный тот, что там оставил своё сердце я...

Пролётом

Дакар. Жара. Аэропорт.
Точёные фигуры.
Здесь каждый белый—будто лорд,
написанный с природы;
многоголовье, суета,
французско-африканский
слоёный говор. Немота
здесь—лучшее лекарство
от обращений: кто ты есть,
когда лишь час для пира—
впитать в себя живую смесь
тропического мира...

Второй этаж: базарный зал.
По стенам, по прилавкам—
устанут тешиться глаза
(забудешь Рильке, Кафку,
и Пушкин, наш арап, не тот,
хоть кровь-то и отсюда),
когда стоишь, и льётся пот,
стоишь—вокруг и всюду
такие виды, образцы,
такие экспонаты,
что ты, как схваченный Янцзы,
уносишься куда-то
в небесный мир... и снов... и грёз...
И на душе—так сладко!
Но снова проза. Дрожь. Мороз...
Объявлена посадка...

Table Mountain

Задерживаясь на вершине горы Столовой,
я думал. Хотя это было зряшным.
Смотреть, любоваться и, право слово,
куда-то ввысь душой испаряться—
лишь это в себе ворошили скопом
сюда добравшиеся фуникулёром.
А я уходил на другие тропы
и даже думать не мыслил хором.

Внизу—словно карта—картина мира.
Земля. Океан. Небеса над ними.
И город, который как будто вырос
в секунду эту: полночный снимок
на карте памяти. А извлеку ли,
когда в тиши заполярной Память
устанет? Но—я быстрее пули;
я снова там. У обрыва. Замер...

Ночь в ирландском городке

Ночной залив, холмы, луга,
огни на тёмном берегу,
шумит какая-то река...
Я надыхаться не могу
туманным воздухом страны,
где я вот так—стою и жду
необъяснимой глубины,
какая мыслится в ряду
других, но—родственных глубин
чужих краёв и берегов,
где пьян я был, и нелюбим,
и не рождён из долгих снов.

Спит Каслтаун. Нежный звук
(он миг живёт, но как не жил)
летит в ладони моих рук,
что я локатором сложил.
Смычок? Волынка? Не понять...
А вот ещё! Как высока
ночная трель (вся—для меня),
что прилетела с берега
и стихла!.. Я—и нем, и рад,
ведь тишь—мечта! Вселенная!
Чей надо мною звездопад—
как музыка нетленная...



И. В. К. — с благодарностью

Я уеду, уеду, конечно.
Я тебя никогда не дождусь.
А моя одинокая нежность
растревожит надежду и грусть...

Сумасшедшие мысли... Усталость...
Ах, глаза— удивительный взгляд!
Это всё, что на сердце осталось.
Остальное построилось в ряд:
бесконечные дни (но не вместе)
и созвучие душ (в тишине),
всё другое— волнения, вести—
словно наше, но в дымке, во сне.

И по этой хрустальной шеренге
жизнь ударила метким огнём,
как по людям, стоящим у стенки
и поющим— о ней и о нём...



Взгляни на это полотно
декабрьской ночью...

Уютный дворик, стол, вино
и многогощье
в конце ухоженной строки
на той салфетке,
что всё рвалась из-под руки,
как чиж из клетки.

За многогощьем— времена,
дороги странствий:
«Я так хотел испить вина!..»
в твоём убранстве
среди булыжных мостовых,
кафе и рынков,
среди причудливой листвы,
домов старинных,
среди мостов и площадей,
морских причалов
и света жёлтого в воде,
среди печали...

Моей печали оттого,
что всё умчится
куда-то— в зимний разговор,
во тьму... Но птицы,
родные чайки— там и тут...
Я не устану
любить и помнить твой уют,
ночной Кейптаун!

Я выпью белого вина
под ветер снежный.
А где-то там— моя весна
и— мыс Надежды!

Видение

Привычное моё ночное времечко
бессонницею вычертило круг.
Я в блюдечко морскому свину семечек
подсыпал, и привиделось мне вдруг:

«Иду по широченной тихой улице.
Прохлада. Никого. И тоже ночь.
Цикады по кустам. Какие умницы:
встречая, замолкают. Я же прочь
от этого молчания пугливого
иду хоть не спеша, но тороплюсь.
Как знать, а вдруг дыхание приливное
возьмёт и принесёт дождливый блюз?
А вымокнуть не хочется, поэтому
шаги быстрее. Город впереди,
воспетый музыкантами, поэтами,—
Буэнос-Айрес! Ночь! О Господи!...»

Я помню всё. И ночь ту бесконечную,
и менестрельных радостных бродяг,
и этот город, где в застывшей вечности
звучал не блюз, а танго из дождя!..

Истоки

(на перелёте в Кейптаун)

Аденский пролив. И темнота.
Африка по курсу, а внизу,
позади, остался навсегда
мною не услышанный Файзул.

Что-то говорил и объяснял,
не торговец явно, но и не
пассажир. И нет, не из менял.
Я поспал немного, и во сне
он явился шейхом. Я опять
видел бедуинские глаза
и тюрбан, закрученный под ять,
а в глазах, что странно,— бирюза.

Мы, наверно, братья были с ним
и похожи, точно! Лишь потом,
видя на земле, внизу, огни,
понял я, чем близок мне Восток:
где-то в исторической дали
(верно это— в зеркало смотрю)
предки— не из мест, где жил Дали,
но и не собратья лопарю;
а, скорее, мой далёкий дед
азиатский пил в степи кумыс
или с караваном шёл в Тибет:
гены странствий мне передались
и глаза раскосые, а к ним—
вечное стремление вперёд,
где встречаются новые огни
и горящий светом небосвод...